

Лион Фейхтвангер

КЕЛЬНЕР АНТОНИО

Мое лекционное турне по Америке было утомительным; я чувствовал себя крайне усталым и мечтал о деревенской тишине своего домика на юге Франции. Покончив с делами в Штатах, я сел на первый же пароход, отплывавший в Европу.

Пароход был небольшой, но оказался гораздо удобнее, чем я ожидал. Как славно было прогуливаться по палубе, как славно было лежать, растянувшись, на шезлонге и смотреть на волны, как было славно съесть свой обед, не будучи обязанным вести разговоры с множеством людей!

Мешала лишь одна глупая мелочь: меня раздражал мой кельнер. Это был человек лет сорока, приземистый и большеголовый; черные волосы росли у него с середины лба, низкого, испещренного морщинами, лицо его было четырехугольное и немного плоское; маленький приплюснутый нос под карими глазами, придававшими лицу всегда угрюмое выражение. Его можно было принять за испанца или португальца; во всяком случае, английским он владел неважно, и хотя я старался, заказывая, говорить внятно, он все же понимал меня плохо и приносил не то, что я заказывал. Движения его были неловки; этому грузному человеку трудно было лавировать с полным подносом по ресторану во время качки. Если за обедом или за ужином он не выливал мне на костюм суп, соус или вино, я мог считать, что мне повезло.

Пассажиры бранились или с насмешливой покорностью пожимали плечами при виде этого нескладного человека. Я же помалкивал, хотя на моем лице иногда можно было прочесть недовольство. Препираться с кельнером не имело смысла. Несомненно, он замечал каждое свое упущение. После очередного промаха на его мясистом, всегда напряженном и потном лице появлялось озлобленное выражение всеобвиняющей горечи. И вообще была в нем какая-то задумчивость, печальная сосредоточенность, которая, разумеется, мешала ему исполнять его обязанности. Иногда он вдруг впивался испытующим взглядом в кого-либо из пассажиров и

смотрел с таким упорством, как будто хотел поближе познакомиться с объектом своего наблюдения, – манера для кельнера, мягко говоря, совсем неподходящая.

Старший стюард, человек энергичный, естественно, замечал нерасторопность своего подчиненного. Он извинился передо мной и объяснил, что взял этого человека в самую последнюю минуту, не успев узнать его как следует, и что, как только мы придем в порт, тут же его уволит. При других обстоятельствах я, пожалуй, возразил бы ему, сказав снисходительно: «Ну, не так уж все это плохо, потерпите еще немножко», – или что-нибудь в этом роде. Но оттого, что усталость и раздражение от поездки по Америке еще давали себя знать, неловкость кельнера свыше меры выводила меня из терпения, и я сухо ответил:

– И правильно сделаете.

Рассказал ли старший стюард о нашем разговоре кельнеру Антонио, – он назвал мне его имя, – я так и не узнал. Но мне казалось, что после этого разговора Антонио смотрел на меня с тоской, горечью и укоризной, словно моя мелочность оказалась для него неожиданной. У меня и раньше появлялось иногда неприятное ощущение, будто Антонио относится ко мне так, словно мы с ним каким-то странным образом связаны. Теперь это впечатление усилилось.

Я убеждал себя, что все это плод моего воображения. Антонио угрюм от природы, и не только мной лично он недоволен, а всем на свете. Я убеждал себя, что только по своей склонности к романтике объясняю его поведение сложными и таинственными психологическими причинами. Но эти трезвые раздумья мне не помогали. Столь необычное выражение дружбы-вражды, которое я, как мне казалось, читал на мясистом, печальном лице кельнера Антонио, все больше удручало меня. Проще всего было бы откровенно и прямо поговорить с ним; но это казалось мне слишком смешным. Вместо этого я упрекал себя в душе, что плохо отозвался тогда об Антонио. Если его уволят, он непременно припишет вину мне. И незаслуженно: неспособность Антонио так бросалась в глаза, что если бы я даже и вступился за него, то все равно не смог бы изменить решения старшего стюарда. Но хотя рассудок и оправдывал меня, в глубине души я чувствовал себя виноватым. Вид этого нескладного,

всегда угрюмого человека отравлял мне жизнь, совесть моя была нечиста, и все удовольствие от приятной поездки пропало.

Но по прибытии домой, в тишине моего кабинета, вновь погрузившись в работу, я очень скоро позабыл кельнера Антонио.

Спустя несколько месяцев дела привели меня на короткое время в Париж. Стоя перед светофором в ожидании, когда красный сигнал сменится зеленым, я увидел на задней площадке медленно проезжавшего мимо меня автобуса знакомого человека с крупным, печально-сосредоточенным лицом. Несколько секунд я напрягал свою память и наконец вспомнил, что это Антонио.

И сразу же с прежней силой меня охватили чувства, волновавшие меня на пароходе, страхи и мелкое тайное злорадство, которое вызвала во мне та злополучная история, восстановившая против меня Антонио. И снова я почувствовал угрызения совести.

Я убеждал себя, что Антонио, вероятно, давно уже забыл о случившемся, если вообще придавал ему какое-либо значение. Я убеждал себя, что он, наверное, нашел себе лучшее, более подходящее для него место. Я убеждал себя, что я глупец. Но никакие доводы рассудка не могли заглушить неприятного чувства, жившего где-то в самой глубине моей души.

С трудом мне удалось разузнать его адрес, и я написал ему, чтобы он зашел. Он ответил по-французски, как видно с трудом подбирая слова, что предложенное мной время ему не подходит и он придет в другое время, назначенное им самим. На этот час у меня было намечено важное деловое свидание. Я отменил его и стал ждать Антонио.

И вот он появился у меня, все такой же нескладный и угрюмый, а я никак не мог понять, чего ради навязал себе эту неприятную встречу. Антонио же, казалось, ничуть не был удивлен и даже как будто ждал, что я его позову. Ничего подобного он, конечно, не высказал, но этот неповоротливый человек в большей степени, чем иной великий актер, обладал способностью выражать свои мысли и чувства с помощью жестов и мимики.

Он стоял передо мной и молчал; его четырехугольное лицо, на котором выделялись маленький нос, карие глаза и глубокие морщины на лбу, казалось непроницаемым. Каждое слово мне приходилось буквально вытягивать из него, и его удивительная внутренняя

неподатливость тормозила беседу еще сильнее, чем слабое знание языка.

В конце концов я спросил его напрямик, считает ли он меня в какой-то степени повинным в его увольнении. Он хмуро посмотрел на меня, как бы удивившись ненужному вопросу, и с обычной немногословностью процедил: «Конечно». Я спросил его, не думает ли он, что его непременно уволили бы и без моего вмешательства. Возможно, отозвался он, однако решающую роль в его злой судьбе сыграл именно я. Хотя этот упрек был совершенно безоснователен, я сразу понял, что переубедить мне его не удастся. Я не стал с ним спорить.

Много ли потерял он из-за этого, спросил я, ведь профессия кельнера не совсем подходящее для него занятие. Он не согласился, более того, возразил мне, что любит свою профессию, а когда я удивленно и недоверчиво посмотрел на него, снисходительно произнес:

– Вы, как писатель, должны бы это понять. – И мрачно добавил, так, словно ничего более естественного на свете и быть не могло: – Я интересуюсь людьми. Нужно найти способ с ними сблизиться, – сказал он.

Я подумал, что не понял Антонио из-за его дурного французского языка, и переспросил:

– Что вы сказали?

– Нужно найти способ сблизиться с ними, – уже совершенно отчетливо повторил он. И я понял, что не ошибся тогда на пароходе и что он действительно верил в существование между нами странной и таинственной связи.

Вид у Антонио был потрепанный, как видно, жилось ему неважно. Выяснилось, что он служит швейцаром в каком-то сомнительном ночном кабачке на Монмартре. Виновником его падения – этого он не сказал, но на его лице это можно было ясно прочесть – был, разумеется, я.

Совість моя не слишком огрубела, но и не была чрезмерно изнеженной. Нельзя, конечно, толкать падающего, и то, что я сказал тогда старшему стюарду, было, возможно, не очень гуманно. И все же слова мои не причинили Антонио особого зла, его и без того бы уволили. Почему меня задело вздорное обвинение этого человека?

Зачем мне мучиться из-за него, нужно просто кончить разговор и попрощаться.

Размышляя таким образом, я услышал вдруг свой голос:

– Послушайте, Антонио, я мог бы предложить вам работу, у меня. Вы были бы вроде дворецкого, да и вообще в доме, где бывает много гостей, работа найдется.

Что за вздор я нес? Это предложение – чудовищная нелепость. Что я буду делать с этим неприятным и неловким малым? И почему я упомянул о «множестве гостей»? Приманить я его хотел, что ли? Ведь он мне совершенно не нужен. Будет только путаться под ногами, раздражать меня. Внутренняя связь между нами, на которую он намекал, существовала на самом деле.

И все же я почувствовал тайное облегчение оттого, что предложил ему работу, что все уже решено и отныне он будет находиться при мне.

Произошло, впрочем, все так, как и следовало ожидать. Работы для Антонио в моем доме почти не нашлось. Большую часть дня он слонялся без дела. Но все же он старался быть хоть чем-нибудь полезен и при всей своей неразговорчивости и угрюмости проявлял ко мне явную симпатию. Конечно, он позволял себе много лишнего. Относился ко мне не как слуга к своему хозяину, а скорее как пожилой ворчливый дядюшка к юному строптивому племяннику. Хотя он никогда и словом об этом не обмолвился, но, очевидно, был убежден, что играет в моей жизни важную роль и никто его заменить не может.

Летом на южный берег Франции толпами начали стекаться друзья и знакомые, и мне волей-неволей пришлось проявлять широкое гостеприимство. Летняя праздность нашего маленького городка порождала множество сплетен и мелких обид, и не всегда было легко допустить лишь тех, кого нужно, и указать на дверь тем, кому следует. Антонио, обычно такой неловкий, проявлял при этом разумный такт. Докучливых он отваживал, слишком застенчивых привечал, и вообще обнаружилось, что он способен выполнять самые деликатные поручения.

В конце лета в нашем маленьком городке появилась женщина, с которой мне приходилось иногда встречаться в Берлине, Париже и Лондоне; в прежние времена я никогда не уделял ей большого внимания. Но теперь, на юге, да еще летом, я уже не понимал, как я

мог быть к ней равнодушным. Кларисса вдруг показалась мне самой желанной из всех женщин на свете.

Я увидел ее в первый раз в маленьком людном кафе возле красивого и шумного порта. Ее окружали поклонники, и у меня почти не было возможности поговорить с ней. Потом я встретил ее на одном по-снобистски примитивном пикнике. Говоря откровенно, я пошел туда в надежде ее увидеть. На этот раз я смог побеседовать с ней подольше. Она была немного обижена тем, что раньше я не обращал на нее внимания; она кокетничала со мной и делала вид, что хочет ускользнуть. Насмешливо сожалела, что теперь, когда я наконец-то обратил на нее свое благосклонное внимание, у нее уже нет для меня времени; на той неделе ей придется уехать.

Причины ее поведения я понимал очень хорошо. Но я не испугался и настоятельно попросил о свидании в один из ближайших дней до ее отъезда. Она не отказала, хотя не могла или не хотела обещать мне ничего определенного: у нее якобы нет под рукой записной книжки, где расписаны все ее дни. Кларисса жила в часе ходьбы от порта, в горах, в доме, предоставленном ей ее другом; телефона там не было. Зайти же к ней ненароком, без предупреждения, она мне не разрешила. В конце концов мы условились, что я пошлю к ней кого-нибудь и она передаст посыльному, когда мне можно к ней зайти.

Это дело было как раз для Антонио. Однако я не мог не заметить, что, когда я назвал имя Клариссы, он слегка вздрогнул.

– Вы знаете эту даму, Антонио? – спросил я.

– Я встречал ее в городе, – ответил Антонио.

Он старался придать своему лицу безразличное выражение, как подобает в таких случаях хорошему слуге, и все же я заметил, что Кларисса ему не нравится. Я строго внушил ему, что заинтересован в этой встрече, и сказал, что согласен на любой час, который назначит мне Кларисса.

Когда вечером я вернулся домой и стал нетерпеливо расспрашивать Антонио, на какое время назначена встреча, он, по своему обыкновению, угрюмо ответил, что Кларисса еще ничего не могла решить и приказала ему прийти завтра. Это меня расстроило, но я подумал, что после того, как я столь долго обижал ее своим

равнодушием, она хочет непременно дать мне почувствовать свою власть.

На следующий день Антонио снова отправился к Клариссе. Вернувшись, он сказал мне, что не застал ее. Дом был заперт, а на соседней ферме ему сказали, что эта дама с самого утра уехала с подругой к морю купаться. Он разузнал, где она обычно купается, но там ее не нашел. Я ничего не ответил, но в душе огорчился. Это был опять прежний Антонио, неловкий и неуклюжий.

– Завтра я сам поеду туда, – заявил я.

Но на другой день обнаружилось, что с автомашиной что-то не в порядке, и я не мог на ней ехать, а оба городских такси были заняты, и вызвать их не было возможности. Кларисса запретила мне навещать ее без предупреждения, поэтому было рискованно просто так к ней поехать. Пойти же пешком было совсем непозволительно: так я мог лишь настойчиво и тактически неумно подчеркнуть свое желание ее увидеть. Мне не оставалось ничего иного, как снова послать Антонио. Я не очень удивился, когда и на этот раз он вернулся ни с чем.

Наконец Кларисса уехала из нашего городка, и я так и не смог с нею повидаться. Не кто иной, как Антонио, сообщил мне о ее отъезде, и не без злорадства. Я не смог удержаться, чтобы не сказать ему:

– На сей раз вы особенно отличились, Антонио.

Я редко бранил Антонио: это было бесполезно. Но если меня иногда и прорывало, то Антонио придавал своему лицу то озабоченное выражение, которое было мне знакомо еще со времени поездки на пароходе. Однако теперь такого выражения на лице Антонио я не увидел, он даже заявил мне:

– Если бы я действительно захотел, то ваша встреча с мадам Клариссой состоялась бы. Но, по-моему, так-то оно лучше.

Он пробурчал это себе под нос, не глядя на меня.

– Что вы сказали? – спросил я, подумав, что ослышался или не понял его ломаного французского языка.

– По-моему, оно и лучше, что так получилось, – повторил он, теперь уже глядя мне в глаза.

Ни в его взгляде, ни в тоне голоса не было ни капли наглости: слова его звучали, как негромкое предостережение, как объективная и серьезная констатация факта. Я почувствовал желание выгнать его из дому; в то же время у меня было такое ощущение, словно я должен

перед ним оправдаться. Мне хотелось узнать, почему он считает, что так лучше. Но вместо этого я осторожно спросил:

– Вы знали мадам Клариссу раньше?

– Нет, – не колеблясь ответил Антонио.

– Известно ли вам о ней что-нибудь? – продолжал я расспрашивать Антонио.

– Нет, – повторил он.

Я помолчал немного, потом насмешливо и довольно глупо сказал:

– Вот вы и проявили свое умение сблизиться с людьми.

– Напротив, – спокойно и без тени обиды ответил Антонио. – Но я ее видел.

Я не сказал более ни слова. Казалось нелепым, что Антонио считает себя способным по лицу прочесть всю подноготную человека, все его прошлое. И однако его спокойный тон меня почему-то тронул.

Месяца два спустя пришло письмо от Клариссы. Она упрекала меня в том, что я не даю о себе знать. Она писала, что живет теперь в Париже, и спрашивала, когда я снова туда приеду. Но мое влечение к ней уже угасло, я весь ушел в работу, да и странные слова Антонио никак не выходили у меня из головы. Я ответил ей любезным, но ни к чему не обязывающим письмом.

Зимой я услышал о Клариссе от моего друга профессора Роберта. Роберт был милейший человек, энтузиаст, немножко фантазер, и он с восторгом писал мне о Клариссе.

Те годы были насыщены острыми политическими событиями. Роберт, как и я, был подданным государства, в котором власть захватили враги свободы и приверженцы насилия. Эти люди ни перед чем не останавливались и питали лютую ненависть к своим противникам. Роберт был человек тихий и безобидный, но не отличался осторожностью и никогда не скрывал своих свободолобивых взглядов. Поэтому эти люди его ненавидели. И все же меня глубоко потрясло, когда я прочитал, что Роберт арестован за антигосударственную деятельность. Он был кем угодно, только не радикалом, и трудно было поверить, что он, как писали газеты, занимался активной революционной деятельностью. Его враги с торжеством объявили, что у него найдены документы, неоспоримо доказывавшие его виновность.

Я стал разузнавать, что же, собственно, произошло. Наш общий друг, человек, заслуживавший абсолютного доверия, сообщил мне, что документы, погубившие Роберта, были подброшены ему Клариссой.

Как выяснилось потом, Кларисса проделывала это уже в третий раз.

notes

Notes